

– Видишь фрица? – кивнул старшина Кустов, придерживая за хлястик шинели Воликова, угрюмого, длиннолицего солдата, только что отошедшего от полевой кухни с котелком горячей каши. – Ему насыпь... Да поскорее, пока не остыла...

Четвёртая мотострелковая рота обедала в оборудованной на скорую руку полевой столовой. Располагалась она в укрытии – грязной глинистой ложине, похожей на большую, вырытую по ошибке яму. Лощину окружал редкий сосновый лесок, в нем и были вырыты в полный рост окопы, изображавшие «эшелонированную» оборону.

Несколько дней кряду рота выезжала на плановые осенние учения. Выезжали рано, сразу после завтрака. А возвращались в часть вечером, когда сгущались тяжёлые осенние сумерки, и становилось темно. Всё утро рота в полном боевом снаряжении – в длинных до пят шинелях и тёмно-зелёных касках – отработывала атаку на условного противника. А после короткого отдыха состязались в меткости поражения мишеней.

Сейчас – пластмассовые немецкие часы старшины Кустова показывали час дня – был как раз перерыв на обед. Бойцы зябко топтались с котелками у походной кухни. На запятках румяный от холода и пахучего пара полковой повар Алёхин в белой куртке и поварском колпаке ловко орудовал огромным, похожим на хоккейную клюшку черпаком.

Солдатская столовая состояла из нескольких натянутых на более-менее твёрдом месте палаток с продуктами и длинных рядов столов. Они были грубо сколочены из мелких, наспех ошкуренных берёзок. И этот фриц Кузя – интересно, откуда у него такая кличка? – крепко им тогда помог. Усердно таскал тонкие

берёзовые стволы и за котелок каши помогал их отёсывать и сколачивать. Всё он делал быстро, сноровисто и умело.

Так что фриц, – подвёл итог своим мыслям старшина, – солдатскую кашу ест не даром. Ротный злобится, требует убрать его из расположения роты. Но Кустов выполнять распоряжение начальства не торопится. Если потребуется что-нибудь для роты срочное или сложное соорудить, фриц за порцию каши и кружку чая мигом всё устроит. И с отменным качеством. А пока что сидит на бугорке и посматривает, не надо ли чем помочь русским?

По слухам, ходившим среди ротных стариков, Кузя в войну был солдатом вермахта. В конце войны он оказался в плену и отсидел срок в лагере, в Сибири. А лагерь кого хочешь уму-разуму научит, усмехнулся Кустов, поглядывая, как Кузя жадно поглощает кашу из подаренного ефрейтором Воликовым котелка. Старый котелок, краска на нём облезла, с одной стороны вмятина – ящик с патронами на него уронили. После этого случая Воликов выпросил у старшины новый, а старый подарил немцу.

А старшине и не жалко: хороший мужик Кузя. Хоть и бродяга, и жизнь у него не сложилась. А мало ли бродяжек в Союзе? Вон тот же Воликов. Жил до службы с родителями, а выглядит, как бродяжка. На гражданке слесарем работал, в институт не поступил. Или вовсе не поступал. Тысячу лет ему высшее образование нужно, одна морока... Да и не похож он на неженку и белоручку. Работящий, умелый. Руки сильные, тяжёлые. Такими руками подковы гнуть, уважительно подумал старшина. Какие-то они оба... одинаковые, пришла в голову странная мысль. Оба худые, длинномордые. И мрачные, как уголовники. Как одна мать их родила...

2

К концу обеда посыпался мелкий, осенний дождик. Холодный и колючий, он щекотал лицо, больно сёк его, словно мелкой бритвой.

Старшина отвернулся, подставив дождю тяжёлую, покатуя спину. Теперь он видел весь лесок с его соснами и свежесрытыми окопами, стынущий на нудном, холодном дожде. И бугорок, где ефрейтор Воликов и немец доедали кашу. Кузя жадно вычерпывал остатки, скребя ложкой по дну. И чего он привязался к фрицу, водой не разольёшь, – неприязненно подумал о подчинённом старшина. Но из уважения к немцу промолчал, – сделал вид, что не замечает...

Над столами, где обедала рота, были протянуты укрывавшие их от дождя и закрепленные на длинных шестах брезентовые плащ-палатки.

Устроить укрытие от непогоды была затея старшины, свидетельствовавшая о его предприимчивости и отеческой заботе. А помогли опять же Воликов и Кузя. Если содрать с Воликова шинель и гимнастерку, раззявил рот в насмешливой улыбке Кустов, то выйдет как раз Кузя. Такой у них от худобы и полубритости бродячий и нечистый вид. И гиблая сумрачность во взгляде, в повороте головы... Вроде и парень неплохой, снова с неприязнью подумал Кустов. Не скандальный, от службы не отлынивает, даже наоборот – напрашивается. Что тоже вообще-то не хорошо. Дисциплину не нарушает... В увольнение за два года службы ни разу не сходил, не то, что в самоволку... А куда здесь *самоволить*, с тоской спросил себя Кустов. – В Дальгов, что ли? Кур гонять... Больше и пойти некуда.

3

Офицеры полка отогревались и обедали в походной летучке с тёплой печкой-буржуйкой. Из фургона доносились звуки музыки – работал переносной магнитофон, – сопровождавшиеся хохотом и перебивавшими друг друга голосами. Хряпнули за обедом коньячку, с завистью подумал Кустов, и теперь веселятся...

По тому, как громко и весело смеялись офицеры и бегала с грязной посудой официантка Варя, было похоже, что офицерский обед подходил к концу. А значит, предположил Кустов, неторопливо спустится по железным ступенькам, оправляя портупёю, командир роты капитан Ухарев. И надо будет докладывать, что рота закончила приём пищи и готова приступить к запланированным стрельбам.

– Живее, рота, – заторопил старшина, поглядывая на фургон. – Заканчиваем. Пять минут перекур и строиться.

В дверях показалась крупная, осанистая фигура капитана Ухарева. Старшина подтянулся:

– Ста-ановись! – протяжно и властно запел он...

Дождь моросил, не переставая.

4

Походной колонной четвёртая рота уныло брела к месту учебных стрельб.

После обеда стало не легче, а тяжелее месить мокрую, скользкую глину. Слышалось тяжёлое, прерывистое дыхание и бряцание оружия.

Ефрейтор Воликов шёл в голове колонны и думал, как ему хорошо и легко с этим немцем, Кузей.

Когда его зачислили в четвёртую роту, Кузя был уже местной знаменитостью. Воликов увидел его на полигоне: грязный, тощий, одетый в жалкие лохмотья. Он маячил на бугорке или бродил возле полевой кухни, подбирая объедки. «Поешь», – отвалит ему каши сердобольный повар Алёхин.

Принимал Кузя горячую кашу с восторженным мычанием в сложенные тарелочкой ладони – они были грубы и мозолисты и, казалось, не чувствовали идущего от каши жара. «Гут, – кивал Кузя длинной, вытянутой, как мяч для игры в регби, головой в потрёпанной егерской кепке.

Такие кепи цвета хаки Воликов видел раньше в кино. В кадрах кинохроники опьянённые успехами летней кампании немецкие солдаты весёлым, разболтанным строем двигались по русской степи к Волге.

– Гут, – стеснительно повторил Кузя. И, чтобы прослыть своим, добавлял по-русски: – Карош, камрад. Очень карош...»

«После плена один остался. Ни жены, ни детей», – объяснил ему маленький, безусый и безбородый солдат Марочкин.

Марочкин был солдат неторопливый, обстоятельный и хозяйственный. Служил он третий год. Всё у него в походном имуществе и обмундировании было устроено ладно, надёжно и крепко. Так же основательно и прочно, как и он сам.

Марочкина в роте уважали. Мужик он был спокойный и меткий на слово. И постоянно – что Воликов особенно ценил – повторял нравившееся ему слово: «справедливость».

«Главное, – по-мужицки убедительно цедил Марочкин, пришивая к гимнастёрке оторвавшуюся пуговицу или отглаживая стиранные-перестиранные брюки, – чтобы у человека было ко всему справедливое отношение. Заработал наказание – получи. Так, значит, судьба распорядилась. Чтобы ты нарушил и был за это наказан. А нет – спокойно служи, никто тебя не тронет...»

Что именно «нарушил» и какое «наказание» должно было за этим последовать – Марочкин не уточнял...

Благодаря ключевому слову «справедливость» Воликов всей душой тянулся к этому неказистому, не воинственному солдату. Именно из-за Марочкина Кузя («тоже чувствует хорошего человека», – подумал Воликов) привязался к их роте, не

упускал её из вида и всюду следовал за ними. «Он у нас как сын полка», – шутил Марочкин, щедро отсыпая Кузе походной каши и поглядывая, как тот жадно, по-собачьи уплетает её из грязных лап.

«Ты котелок-то заимей, чучело. Лопаешь, как нелюдь», – с укоризной посоветовал он. К его длинному носу приклеилась липкая кашинка, и Кузя выглядел, несмотря на старившуюся его небритость, взрослым ребенком.

Выражение забитости и неловкости тенью лежало на его худом, измождённом лице.

Немец охотно кивал, что-то застенчиво лопотал и принимался за своё: ел из рук щедро подсыпаемую кашу, даже не ополоснув их в ближайшей луже.

«Не, на немца ты не похож, – покачал головой Марочкин. – Нет... Фрицы, те аккуратные...»

В конце концов Марочкину надоела запущенность и расхлябанность нового знакомца, и он подарил фрицу выпрошенный у старшины кусок хозяйственного мыла. Немец принуждённо и застенчиво улыбался и мелко-мелко тряс головой: благодарил...

Воликову же казалось, что немец к мылу был равнодушен. Как и к каше, то и дело подкладываемой Марочкиным. Кажется, забери он у Кузи мыло, и перестань угощать его кашей, прогони вовсе из расположения роты – он не обидится и не ужаснётся. Равнодушно и покорно исчезнет, растворится в зарослях сосняка, откуда он однажды появился. Возник, словно фольклорный лесовичок, сидя по-зёковски на корточках и внимательно наблюдая, как русские солдаты обедают, рассаживаются в свои БТРы или пешим строем отправляются на полигон, на учения...

О странном немце пронюхал предшественник Кустова, ротный старшина Тетеря, суровый, малоподвижный хохол. Несмотря на природную подозрительность, он принял горячее участие в общем сердобольном отношении к фрицу.

«Жертва фашизма, – коротко и мрачно охарактеризовал Кузю старшина Тетеря, пошевеливая густыми, пшеничными усами. – Вызывает у бойцов сильную скорботу, туварыш капитан. Як поверженный враг...»

И поначалу, как это часто бывает, всё новое – удивительный, не агрессивный немец (это потрясло роту больше всего) и приливы невоенного великодушия вызвали к Кузе волну общей симпатии. Желание любить и сострадать было таким сильным, что даже суровый и неприступный капитан Ухарев проникся примиренческими настроениями. Если он и не одобрял при-

сутствия Кузи в роте, то, во всяком случае, не мешал бойцам по-отечески опекать злополучного фрица. Закрывал до поры до времени глаза на то, что его «сынки» помогают немцу, кто чем может.

Но терпение его не беспредельно, и однажды он приказал старшине не подпускать немца и близко к роте...

Благодаря великодушию сменившего в качестве опекуна уволившегося в запас Марочкина ефрейтора Воликова, Кузя теперь поглощал кашу по-человечески, из котелка.

«Совсем другое дело, – ворчал старшина, отводя взгляд от Кузи. В глазах у немца вместе с выражением голода и тупой забитости застыла такая тоска, что невозможно было смотреть.

– Не маячь перед глазами, – раздражённо заявит он немцу. – Поел – и бегом из роты... Не хватало взыскание из-за тебя получить...»

И немец его понял. Перестал подходить близко к солдатам и раскуривать с ними крепкие, дешёвые сигареты. Не бродил по кухне в поисках объедков и отбросов. Не рылся в мусорной яме, куда солдаты выбрасывали ненужные или испортившиеся вещи: сломанную алюминиевую ложку, старый погон с оторвавшимся хлястиком, прожжённую шинель, куски грязного ситца, – на полигоне приходилось жить подолгу, по две, а то и три недели...

Понемногу все стали забывать, что не старый, но казавшийся глубоким стариком немец – бывший военнопленный. Никто не знал – это была совсем давняя история, – почему нелепого, в рваной, обтрёпанной одежде немца зовут русским именем «Кузя». Старые солдаты смутно припоминали, что, когда они только начинали служить в Германии, их предшественники называли немца этим именем. Они словно передали его с карикатурным прозвищем и внешним видом по наследству. Но откуда взялось само имя – даже самые *старые старики*, не могли объяснить...

Только один человек упорно пытался проникнуть в тайну кухни жизни. И хотя глубина её была спорной, он не переставал ею интересоваться. Этим человеком был ефрейтор Павел Воликов.

Произошло это не без помощи старой семейной истории...

«Мам, это что за котелок?», – спросил однажды Павлик у матери, маленькой, русоволосой женщины с курносым носиком

и серыми, бесцветными глазками; ему было одиннадцать лет, он стоял в кухне и задумчиво посасывал грязный палец.

Жаркое послевоенное лето...

Мама, Елена Матвеевна, стирала бельё в большом цинковом корыте. Была она вся красная, разгорячённая, из корыта с крутым кипятком валил густой пар. На ребристой стиральной доске с глухим рокотом мама тёрла павликовы грязные рубашонки и трусики. Время от времени она выпрямлялась и сдувала с потного лба непослушную прядь. Тщательно прополоскав, разглядывала выстиранное бельё на свет. С него шумно стекала вода, оно парило и дымилось, и мама укоризненно покачивала головой: «ну ты, сын, и вывозился!..» И снова принималась тереть изо всех сил...

Несмотря на все её усилия, на рубашонке Павлика упорно сохранялись багровые подтёки от вишнёвого варенья. Много было расплзшихся, словно маленькие островки на карте, жирных масляных пятен и, конечно, следов уличной грязи – вчера они с ребятами играли в войну. Маленький Павлик по-пластунски ползал с «гранатой» в руке, не жалея рубашки и ношенных брючат, по сорному, со следами куриного помета и машинного масла от дядиваниного мотоцикла двору.

Ребятня имитировала победоносный бой советских солдат из кинофильма «Падение Берлина». Гранатой была похожая на немецкое взрывное устройство домашняя деревянная толкушка, ею мама перетирала вареную картошку.

«Ура – кричал Павлик, швыряя «гранату» в ближайшие кусты с засевшими там «врагами», – я немца убил!..»

«Павлик, перестань! – кричала в открытое окно мама. – Ступай домой, хватит дурака валять!»

«Помоги лучше, – гремя пустым ведром, приказала мама. – Бери котелок и подливай горячей воды. Да побольше, не жалея».

«А что это за котелок?» – Павлик взял его за металлическую дужку и погрузил в кипяток.

«Немецкий. Смотри не обварись».

«А почему он немецкий, а не русский?».

Кипяток выливаться не хотел: котелок выворачивался, обдавал паром, и мама не на шутку рассердилась.

«Почему да почему. Много будешь знать, скоро состаришься... Ну что ты льёшь, как калека, – вскипела она. – Совсем безрукий!..»

Павлику помогать матери было скучно. Он позёвывал и безучастно смотрел на злополучное корыто с бушевавшей в нём мыльной пеной.

«Ма-а, расскажи про котелок, – хныкал он, теребя немецкое изделие с облупившейся зелёной краской. – Как он у нас оказался?»

«Отстань, – сердилась мать. – Некогда».

«А когда стираешь – расскажешь?»

«Видно будет...».

К полудню, перестирыв и высушив на верёвке бельё, мама с рассказом не торопилась. Она как будто боялась или не хотела рассказывать про войну. Павлик так и подумал: рассказывая, мама обязательно расстроится. И будет плакать и сморкаться, как не раз бывало, когда она вспоминала прошлое.

Краем уха Павлик слышал, засыпая, как родители тихо беседовали на кухне. В такие вечера они засиживались допоздна. Павлик просыпался глубокой ночью от отцовского голоса, Никита Андреевич взволнованно убеждал маму:

«Пойми, я тебя не обвиняю. Что случилось, то случилось. Это война. Люди жили одним днём, и ты не исключение»...

«Один день здесь не при чем. Ты никогда не думал, что станет со мной, – возразила мама. – И не был во мне уверен. Поэтому и связался с этой... Безруковой».

«Я тебя не обвиняю! – повысил голос отец, недовольный, что его не понимают. – Но и ты меня не обвиняй. Виноваты мы оба».

Он отшвырнул чайную ложку и сердито заходил по кухне.

«Не стучи ботинками, ребёнка разбудишь».

Скрипнула табуретка, и она добавила: «Допивай чай и ложись. Всё равно ничего не изменишь. Разводиться уже поздно. Время ушло. Разводиться тоже нужно вовремя...»

Последние слова, как показалось Павлику, мама произнесла с улыбкой. Но на душе у него было тяжело. Он чувствовал, что у родителей есть какая-то тайна, и они её от него скрывают. И – смутно, – что он – часть этой тайны, быть может, самая важная...

Из обрывков ночных бесед и дневных реплик родителей в голове у Павлика сложилась определённая картина.

Павлик выяснил, что перед войной родители жили в большом доме на Сенной площади, возле городских конюшен. Когда с моря дул свежий ветер, от конюшен тянуло тёплым, острым запахом навоза.

И ещё он узнал, что папа занимал важный пост на одном из городских предприятий. И – самое главное! – Павлика в это время ещё не было. Это было самое непонятное: все уже были, а его, Павлика, не было! Значит, и запах навоза, и маленький,

сорный двор с пасущимися курами и похрюкивающими в засохшей грязи свиньями; и тяжёлые грузовики, наполненные пшеницей, с урчанием и бряканьем цепей ковылявшие по булыжной мостовой; и пахнущий рыбой весенний ветер, – все было, но... без Павлика!

Это простое открытие не давало ему покоя. А потом оказалось, что сюда, в этот мир, его даже и не звали. Как все ненужные, нежеланные люди, он вызывал раздражение и нелюбовь. Иначе как понять папу? Он ни разу, сколько помнит себя, не погладил его по голове. Не приласкал и не улыбнулся простой и ясной улыбкой. Живут они в одном доме, а относятся друг к другу, как чужие... Павлику стало казаться, что всё на свете, даже неизвестно откуда взявшийся котелок, имеет отношение к его появлению на свет. К его только начинавшейся, но уже тягостной и несчастливой жизни...

6

Историю с котелком мама рассказала Павлику сама, без пожелания.

... Была зима, холодная и ранняя. Павлик пришёл из школы озябший и заледенелый. Пообедал и стал готовить уроки. Он скрипел пером за большим, покрытым чистой клеёнкой столом. На коленях у него мурлыкал кот Васька.

В доме погас свет. Зимой, когда воет злой, ураганный ветер и рвёт на столбах электрические провода, такое случалось часто.

В детскую вошла мама с зажжённой свечой.

«Не пиши при свечке, сынок, – сказала она. – Глазки испортишь...»

Была она грустная и ласковая. Павлик пересел к ней и прижался к её тёплому, мягкому плечу. От мамы пахло подмышками и уксусом, им она прополаскивала волосы, когда мыла голову, и острый, щекочущий запах сохранялся очень долго, до следующего мытья.

«Так мы во время войны жили – со свечой да с ветром».

Она погладила Павлика по голове и вздохнула. – Ты тогда совсем маленький был».

«А как было во время войны. Страшно?»

«По-разному. Сначала думала – пропаду без папы. Денег нет, продуктов тоже, кушать нечего... А потом ничего, привыкла... Человек ко всему привыкает. И к хорошему, и к плохому.

К плохому быстрее, но хуже бывает только от хорошего», – подумав, сказала она.

«Когда пришли немцы, папа меня бросил, – как взрослому, стала рассказывать мама. – Его с заводом отправили в тыл. Дали ему бронь. Поручили вывезти заводское оборудование в Сибирь. Чтобы немцам не досталось».

«А что такое «бронь»? – спросил Павлик. Ему было уютно и хорошо. Он чувствовал, что мама будет долго рассказывать и тайны их семьи сразу откроются.

«Бронь, сынок, это освобождение от войны. Его давали нужным людям. Кто мог пригодиться для работы в тылу».

«И папа был такой человек?» – удивился Павлик.

«Ну да, – улыбнулась мама. – Не всем же на фронте воевать. Надо было и сталь варить, и заводы строить, и хлеб выращивать... Без хлеба очень плохо было, – стала снова рассказывать она. – Папа перед отъездом забежал проститься. Колонна с заводским оборудованием уже переправилась через Кальмиус. А в центре города хозяйничали немцы.

«Никита, а как же я?» – «Не могу, – говорит, – я тебя взять. Строгий приказ: семьи с собой не брать. Едут только рабочие. И не проси...» – «Я же пропаду без тебя». – А сама чуть не плачу. – Папа нахмурился: «Ты, – говорит, – Лена, – толкаешь меня на преступление. Что скажут люди? Что Воликов сам от войны отлынивает и жену спасает? На первом же партсобрании поднимут вопрос... А для меня партия дороже жизни».

«Вот такой был наш папа, – сухо усмехнулась мама. – Идеальный... Папа уехал, – едва успел пробиться дворами, – и я осталась одна.. Без друзей и без родни...»

Свеча горела, коптила. Белый лепесток пламени испуганно метался, как будто его ловили, хватали за остриё, а он не давался и плакал: «не трогайте меня, я ни в чём не виноват!...»

С мамой было уютно и совсем не страшно. Павлик подрёмывал, слушая неторопливый рассказ. Как люди жили в войну. Как спасались от немцев и голода. И как любили друг друга и помогали.

На третий день оккупации в дверь громко постучали. Грохоча сапогами и прикладами, ввалились двое: развязно-наглые, с сине-жёлтыми повязками на рукавах. Полицаи, догадалась Лена. Один был с длинными висячими усами, делавшими его лицо изнурённым и будто плачущим. Второй, молодой парень, круглолицый и простоватый, с похожей на лисий оскал улыбочкой.

– Ну шо, хозяйка. Где твой чоловік, комуняка поганый? Он уселся на табурет и закурил пахучую немецкую сигарету. Его спутник осматривал нехитрое кухонное хозяйство: кастрюли, миски, банки...

– Жрать, мабуть, нема чого? – выпустил струйку дыма первый.

– Сам видишь, – усмехнулся молодой, – Пусто, как в ихнем колхозе.

И заржал, выставив подковку крупных, лошадиных зубов.

– Какая еда, – нахмурилась Лена, вытирая мокрые руки. На завтрак была варёная в мундире картофелина, последняя из летних запасов. И сухая хлебная корка, тоже советская. – Какая еда, всё закончилось...

– Шо ж на базаре не купуешь? – поинтересовался старший. – Чоловик грошей не оставил? А де ты його ховаешь, – зыркнул он. – От нас не сховается, всех найдемо. Ты лучше сразу скажи...

– Откуда мне знать. Уехал, как все заводские. Их не спрашивали, посадили в машины и отправили.

– Было, – кивнул молодой. – Уехали... Все... Даже скучно. Некого на той свет отправить.

– Для такой sprawy найдемо, – засмеялся первый. – Ну шо, хозяйка, – поднялся он. – Значить – так. Объявится чоловік – сразу ж бегом марш доложить у комендатуру. Инакше до святых апостолив отправимо. И его, и тебя. А не появится... Ну то вже, титко, живи як знаешь. Вышел приказ коменданта, майора Вальтера Зигеля, всем сочувствующим третьему рейху выйти на работу. Молодых та справных наймають до швейной фабрики. Шить обмундирование для солдат немецкой армии... Ты, як жинка коммуниста, таку возможность втрачаешь.

Молодой складывал в рюкзак найденные в ящичке стола вилки и ложки:

– Тебе всё одно не понадобятся. А нам прибыток.

И ушли, оставив запах чужого табака, чужого мужского пота и следы от немецких сапог.

Пришла осень, первая осень немецкой оккупации. А за ней и зима.

Лена доела последнее, что оставалось из продуктов – пшеничное зерно. Сварила из него кашу.

Зерно она добывала за городом, на неубранном колхозном поле. Зерно было горелым и горьким – наши, отступая, вели тяжёлые бои и напоследок подожгли поле, чтобы урожай не достался немцам.

Целый месяц Лена ходила с бабами в поле и вылущивала из обгоревших колосьев чёрные зёрнышки. Немецкие патрули им не мешали, – насмешливо и гортанно что-то выкрикивали, разъезжая на мотоциклах. Покричат, погогочут и разъедутся...

К первым морозам зерна в поле уже не осталось. Ветер глухо и тревожно гудел в пустой степи, и кроме этого звука и шелеста бурьяна ничего не было слышно.

Поле для неё было последним источником жизни. Лена подумала, что теперь она будет медленно и мучительно умирать. Ей не хотелось бороться за жизнь – какая разница, сегодня ей умереть или завтра.

«Скорее бы смерть, – с тоской думала Лена. – Чтобы не мучиться...»

День был морозный и ветреный. Кутаясь в шерстяной платок, Лена брела домой. В шубейке и широченном платке она была похожа на старуху-нищенку. Никто не скажет, что ей всего двадцать лет, таким отчаянием и покорностью веяло от её согбенной фигуры и опущенной головы.

Шёл первый снежок. Разносимый ветром, он убыстрял свой бег, делался гуще, и вскоре всё вокруг стало смутным и белым. Началась метель...

Лена брела пустынной улицей и думала, что в доме совсем нечего есть. И она не знает, где ей раздобыть корку хлеба. Сейчас она придёт в холодную, ледяную квартиру и, не раздеваясь, ляжет на кровать. Потом задремлет, и во сне ей будет казаться, что она согрелась. Стало совсем тепло, как будто она сидит дома возле жарко натопленной печи и расчёсывает после мытья густые и длинные – до самого пояса! – волосы. Как до войны...

На минуту ей становится легче. Лена слабо улыбается, вспоминая... Как хороша была жизнь, сколько счастья было в каждом мгновении!

Скрежещущий звук тормозов заставил её вздрогнуть.

Обтянутый брезентом немецкий фургон остановился в двух шагах.

– Матка!

Дверца кабины распахнулась, и длиннолицый немец-шофер, высунувшись, бросил ей буханку чёрного хлеба.

– Ам-ам, – весело оскалился он.

Сквозь метель и ветер Лена разглядела чёрное небритое лицо, солдатскую кепку с длинным козырьком и поднятый воротник шинели.

Немец приветливо помахал рукой, фургон взревел и вперевалочку – улица зияла воронками после бомбёжек – заковылял в сторону водонапорной башни.

Прижимая буханку к груди, Лена побежала домой. Сквозь ветер и колючий снег она вдыхала сладкий запах ржаного хлеба и чувствовала, как к ней возвращаются силы...

8

«Немецкого хлеба хватило на неделю, – неторопливо рассказывала мама; она забыла про ночь и уснувшего у неё под боком Павлика. Так живо, как будто это было вчера, наплывали воспоминания.

Вскоре в дом нагрянула полиция. Проверять документы.

«Занимайтесь уборкой, бабы, – с топотом переходили полицаи из одной квартиры в другую – Немецких солдат будут поселять. Армия становится на отдых...».

На следующий день заработала водонапорная станция, и в дом дали воду. Потом пришел участковый и стал записывать в очередь за дровами: немецкие солдаты и офицеры должны жить в тепле. В первый раз я затопила печку и вымыла в доме полы. Когда выжимала тряпку, в дверь постучали; вошёл немец-постоялец. Я глянула – и обмерла: на пороге, улыбаясь, стоял тот самый чернявый немец-шофер...

«Он тебя не убил? – не поверил тихо проснувшийся Павлик. – Так не бывает. Немцы всех убивали».

«Не все и не всех. Были и хорошие люди. Они не виноваты, что началась война. Вот как наш постоялец. У него дома, в Германии, осталась семья, детки... Меня он от голодной смерти спас».

«А как он тебя спасал?» – спросил Павлик.

Мама покраснела. Она не могла рассказать сыну всю правду.

Клаус, Клаус Кунц, так звали немецкого шофёра, подкармливал её продуктами из своего довольствия. Она чинила и стирала ему бельё, меняла постель, готовила еду... Это он, сынок, подарил нам котелок – им так удобно было черпать воду, когда купаешься в корыте, – я полгода не купалась и не мыла голову...

А еще, хотелось рассказать Лене, Клаус научил её немецким песням – помнишь, сынок, колыбельную «майн либер киндер»?.

И песенку про милого Августина – её я тоже тебе напевала, когда ты был маленький. Чтобы ты уснул с улыбкой на губах...

Павлик, слушая маму, замечал, как приятны ей воспоминания. И немецкие песенки, и старый, с облупившейся краской котелок, из которого она поливала ему голову, когда мыла её с уксусом. Ему казалось – смутно, по-детски, – что во время войны у мамы были не только горе и несчастье. Но что-то безмерно счастливое и незабываемое, чем она не могла или не хотела с ним поделиться.

Павлик вздыхал и задрёмывал под мягкие мамины интонации. Она рассказывала уже не сыну, а себе...

Рассказывала, как счастлива и весела была она холодной, вьюжной зимой 1942 года. Как любила Клауса, а он любил её.

В начале лета их городок пришёл в движение. Всю зиму отдыхавшие и приводившие себя в порядок немецкие части спешно потянулись на восток – через Кальмиус на Таганрог, Ростов и дальше – на юг. С утра до ночи с унылым рёвом проезжали грузовики с солдатами в одинаковых мундирах и касках, со скрежетом тащились танки с крестами на боках. Ехала артиллерия, тянулись фургоны тыловых служб, пешим строем шла пехота...

Не проходило дня без страшных авианалётов. Наши безжалостно бомбили улицу, на которой жили Лена и Клаус. А после бомбёжки снова нескончаемым потоком тянулись наступающие части вермахта...

Город горел, затягиваясь чёрной пеленой пожарищ.

Однажды Клаус убежал домой и стал торопливо собирать вещи.

«Хэли, нас переводят. Волга, Сталинград», – бормотал он, волнуясь и с трудом подбирая слова. – Не плачь. Закончится война, я тебя обязательно найду. Обещаю. Вот, возьми, – сунул он ей мятую фотокарточку. – Будешь меня вспоминать. Так легче жить. И ждать легче... Ауфвидерзеен, майн либер дамен, – улыбнулся он, обнимая Лену, – свою ненаглядную Хэли в последний раз...

Всё лето 1942 года немцы шли, ехали и мчались через их город на Сталинград. А потом немецкие обозы потянулись в обратную сторону. Но это уже были бесконечные санитарные фургоны с ранеными. Окровавленные, изувеченные, без ног и без рук солдаты вражеской армии загрохотали городок; в единственной городской больнице и в школах были развернуты немецкие лазареты.

За миску госпитальной похлёбки Лена устроилась работать санитаркой. Её прошлое никого не интересовало. Она допытывалась у раненых о Клаусе, показывала его фотокарточку, но никто не знал, кто это такой: солдата с такой фамилией и внешностью словно и не было в армии фельдмаршала Клейста. Постепенно Лене начинало казаться, что Клаус ей приснился в голодном полусне-полубреду...

В городском сквере немцы устроили кладбище для солдат. Она часто туда приходила, читала надписи на крестах, увенчанных железной каской. Но никого похожего на рядового Клауса Кунца там не было.

Значит, решила она, Клаус ещё не возвращался, он там, в Сталинграде. И, может быть, вернётся, приедет к своей измучившейся ожиданием Хэли...

Но дни шли за днями, а Клауса всё не было. Русские авианалёты становились всё чаще, безжалостнее, улица горела и дымилась грудями развалин. И только маленький двухэтажный домик в зелени садов, где жила Хэли, чудом оставался цел и невредим.

Во время бомбёжек Лена пряталась вместе с жильцами в подвале, и каждый раз она думала, что теперь им отсюда не выбраться. Разрушенный от прямого попадания авиабомбы, дом обязательно погребёт под развалинами жильцов.

Но заканчивалась одна бомбежка, другая, а она всё ещё была жива и невредима.

Там же, в подвале, во время очередного авианалёта Хэли родила мальчика. Под глухие разрывы авиабомб, кусая от боли ворот платья и вырываясь из рук принимавших у неё роды женщин-соседей.

«Это был ты, Павлик, – улыбнулась мама, погладив сына по голове. – А твой папа – Клаус. Клаус Кунц».

«А как же настоящий папа? – округлил ничего не понимавшие глазёнки Павлик. – Он тогда – кто?»

«Папа Никита – твой второй папа, – терпеливо объясняла Лена. – А первый папа – Клаус...»

Мальчик успокаивался, вздыхал и принимался обдумывать непростую житейскую ситуацию. Оказывается, немец, враг по фамилии Кунц – его родной – да ещё и первый! – отец. И что в этом нет ничего плохого и зазорного. Напротив, он должен гордиться, что его отец не враг, а хороший и добрый человек. Иначе мама ни за что не полюбила бы его и не вышла за него замуж...

... Вытянувшись длинной, извилистой линией, четвёртая рота, скользя и чертыхаясь, выбралась из лощины.

На ровном месте дуло, и дождь казался холоднее и гуще. Вода ручьями стекала с каски Воликова. Он зябко ёжился и, время от времени, мотал головой: дождевые капли падали ему за шиворот.

– Рота, подравняйся! – Деланно-бодро зарычал старшина Кустов; капитан Ухарев и взводные офицеры, ёжась под дождём, брели сзади.

Из окрика старшины стало ясно, что рота приближается к огневым позициям. Это была глубокая – в человеческий рост – длинная траншея, в которой могла разместиться вся рота. Метрах в ста от неё были установлены мишени в человеческий рост. Сквозь нависшую дождевую мглу просматривались зловещие силуэты условного противника. На каждый взвод приходилось по тридцать таких изображений, и огонь вели по очереди. Старшина Кустов и взводные офицеры осматривали пробитые, искрошенные мишени, выставляя стрелявшим персональные оценки. А ротный подводил общие итоги...

Это занятие, стрельба одиночными выстрелами, тянулось до самых сумерек.

Когда пришёл его черед, стало темно, и мишени можно было разглядеть с большим трудом. Воликов целился и стрелял автоматически, глазной памятью определяя их местонахождение.

– Ночная стрельба – хорошая школа для солдата, – подбадривал бойцов, прохаживаясь вдоль траншеи, капитан Ухарев. – Кто умеет стрелять ночью, тому не страшен любой противник.

– Воликов, – бодростью подражая капитану, проговорил взводный острослов, забияка и гармонист Серёжка Красин. – Представь, что ты жаришь бабу. Ночь, ни зги не видно, а ты попасть не можешь, – похохатывал он. – Так и мы...

– Ну их на хрен, капитанские мишени, – предложил он. – Давай зайцев настреляем...

Сумерки были удобным временем для любимой забавы четвёртой роты – охоты на зайцев. Иной наглец открыто ведёт огонь по напуганным пальбой и выскочившим из своих убежищ ленивым, разжиревшим за лето косым. А потом оправдывается: «Ей-богу, не видел! Стреляю по мишени, как приказывали. А он выскочил и прёт под пули!..»

Капитан ворчал и приказывал повторить упражнение.

– Товарищ капитан, разрешите зайца подобрать? Не оставлять же! Жаркое сварганим, как в ресторане!

Ухарев махал рукой и – сдавался.

... Рассеявшись по траншее, взвод, в котором служил Воликов, ждал команды начинать стрельбу.

Взводный, лейтенант Карпачёв, молодой, только летом прибывший из училища паренёк, белобрысый, тщедушный, в новенькой шинели и такой же новой портупее, по-детски волнуясь, поглядывал на ротного.

Ухарев окинул взглядом расположившуюся в траншее роту и взглянул на часы.

– Четвёртая рота, приготовься! – зычно скомандовал он. – С левого фланга! Одиночными! Огонь!!

Затрещали, застучали автоматные выстрелы, нарушая покой осеннего леса. Взводные отмечали в блокнотике тех, кто закончил упражнение. Занятие скучное, на мишени никто внимания не обращал.

К осмотру и обсуждению приступали после каждого отстрелявшегося взвода.

– Покурим, господа офицеры? – достал капитан Ухарев портсигар, краем уха прислушиваясь к пальбе

Дождь сыпал тихо, и лица у всех были усталые и мокрые.

10

Бургомистр тихого восточногерманского городка Дальгов Вальтер Штраубе заканчивал обедать, когда раздался настойчивый телефонный звонок.

Выходить на службу после сытного и вкусного обеда господин Штраубе не собирался. Была пятница, короткий день. К тому же на редкость холодный и ненастный. В ноябре темнеет рано. Серая мгла заволокла очертания улиц и домов, и зажглись первые огни.

– Клара, я подойду, – громко, чтобы услышала заторопившаяся к телефону жена, сказал Штраубе.

Он вытер салфеткой губы, дожевал кусок свиной сосиски и поднял со стула толстое, расплывшееся тело. Красное от сытной еды и пива лицо его выражало недоумение и тревогу. Пятнадцать лет Штраубе бургомистром в городке, но никогда ему не звонили в пятницу, в конце рабочего – да и светового тоже! – дня.

– Да. Хорошо. Немедленно выезжаю, – коротко ответил он и досадливо крякнул:

– Звонил секретарь районного комитета партии. Товарищ Гердт. Печальное событие: русские застрелили нашего.

– О, боже! Где? Как?

Лицо Клары, худой, высокой женщины с нервно подёргивающейся нижней губой выражало крайнюю степень беспокойства. Больше всего на свете она боялась неприятностей у мужа, ведь он такой увалень! На его должности – каждого кандидата в бургомистры утверждали в центральном органе партии! – нужно всё время быть начеку и проявлять чудеса сообразительности и находчивости. Она же никогда не была уверена, что в сложных обстоятельствах её Вальтер окажется на высоте.

– Где это произошло? – побледнев, спросила Клара.

– На полигоне. Во время учебных стрельб, – надевая в прихожей пальто и тирольскую шляпу с пером, прохрипел Штраубе; он чувствовал себя виноватым: жена, как обычно, станет ругать его за нерасторопность и ротозейство. А при чем тут, спрашивается, бургомистр, – мысленно вступил в полемику с женой Штраубе. – Есть вещи, которые нельзя предусмотреть. Будь ты хоть семи пядей во лбу...

Бедному Штраубе совсем не улыбалось трястись в глухую, дождливую ночь на тёмный и мрачный полигон и заниматься опознанием тела. Он, Штраубе, ненавидит всё тяжёлое и сложное. Но должность обязывает, ведь он по службе призван тратить время и силы на тягостные и неблагодарные вещи.

На полигоне русские и товарищ Гердт потребуют подтверждения, что погибший действительно является гражданином города Дальгов. «Ведь вы, товарищ Штраубе, – представил он вежливый тон, с каким обратятся к нему русские, – наверняка знаете каждого жителя. Погибший – ваш?»

А может, и не наш, это уже как повезёт, подумал Штраубе, садясь в автомобиль и тяжело вздыхая. Секретарь сочувственно кивнул головой:

– Русские утверждают, что он – наш, – откидываясь на спинку, сказал секретарь. – Как будто они осведомлены лучше нас. Что вы об этом думаете, товарищ Штраубе?

– Может, и не наш. Посмотрим.

– Вы, как всегда, неторопливы.

Водитель включил зажигание, и они тронулись.

– Они его знают, Вальтер, – после некоторого молчания заговорил товарищ Гердт. – Они хорошо знают погибшего. Он был их другом. Так они говорят. Наверное, чтобы оправдаться.

– В таком случае, – сказал Штраубе, – все расходы русские должны взять на себя. А ещё я думаю, что друзей не расстреливают.

– В этом вы правы. А расходы... Русские – люди прижимистые. Они согласятся оплатить похороны, если признают свою вину. А вину они никогда не признают, – покачал головой товарищ Гердт

В прыгающем свете автомобильных фар поплыли последние домики Дальгова. С елями, аккуратными палисадниками и чёрными окнами: спать в городке ложатся рано.

За городом потянулась прямая, как стрела, липовая аллея, выходящая на Гамбургское шоссе. За ней поворот налево, машинально отметил Штраубе, и не успеют они глазом моргнуть, как окажутся на русском полигоне.

– Русские ни за что не признают себя виновными, – повторил товарищ Гердт, глядя на освещаемое фарами пустое шоссе. – Русские всегда правы. И во всём. Виноватым, как всегда, окажется немец.

– В таком случае, зачем мы им нужны? – пожал плечами Штраубе. – Пусть сами всё и решают.

– Процедура. Нужно подтвердить нашу вину. И заняться делом.

– Как это случилось? – помолчав, спросил Штраубе.

– Трудно сказать, – закурил сигарету секретарь. – По телефону – звонил замполит их полка – ничего нельзя было понять. Будем разбираться на месте.

«А чего тут разбираться, – мысленно посетовал Штраубе. – Выслушаем русских, пожмем друг другу руки и разъедемся. В полной уверенности, что они не виноваты. А может, и правда не виноваты. И мы напрасно на них сердимся...»

На полигоне – мокрое бездорожье и глубокие траншеи и капониры, то и дело мелькавшие в свете фар – было темно, как в лесу. Да, собственно, они и въехали в разбросанный на песчаных холмах редкий сосновый лес. Автомобиль долго и нутужно ревел, ковыляя по раскисшим колеям и выбоинам, полным воды. Дождь перестал, но с деревьев, когда они выехали на возвышенность, капало, и капли стучали по крыше, как будто по ней сыпали горохом.

Впереди замелькали фигурки военных в русских шинелях и шапках. Один, помоложе, махнул рукой, делая знак остановиться.

Секретарь вытащил из салона длинное, худое тело и распорядился не выключать фары, потому что в лесу было темно. Поджидавшие их офицеры стояли кружком, подсвечивая карманными фонариками.

– Когда стемнело, полк покинул район учений. Выехали на зимние квартиры, – объяснил представителям немецкой стороны командир полка.

Это был высокий, худощавый, благожелательный человек. Говорил он спокойно и рассудительно.

– Случай досадный. Но не держать же понапрасну в лесу, ночью, две тысячи человек...

Немцы помалкивали. Полковник огляделся.

– Остались командир батальона и комроты. Это у них произошёл несчастный случай.

Он представил немцам капитана Ухарева и комбата Черненкова, толстого, затаятого в узкую шинель, так что грудь у него выкатывалась колесом, подполковника с сердитым лицом и глазами навывкате.

– Собственно говоря, – пожал плечами полковник, – выяснять особенно нечего. Дело было так...

И неторопливо и подробно, как очевидно, он поступал и думал всегда, полковник Лесов объяснил, что произошло на исходе этого злополучного дня.

Батальон подполковника Черненкова заканчивал учебные стрельбы. Осталась последняя, четвёртая рота. Капитан Ухарев отслеживал ситуацию. Но бывают необъяснимые вещи. Закончил стрельбу и доложил рядовой Красин. Ефрейтор Воликов изготовился и ждал приказа. Но, видите ли, геноссе... Рядовой Красин в темноте ошибся и расстрелял неизвестно откуда появившихся возле мишеней зайцев. Ефрейтор Воликов принялся поражать мишень. В паузе из леска выскочил неизвестный и метнулся подбирать убитых зайцев. И попал под огонь ефрейтора, – тот не сразу понял, что вместо мишени в его прицеле оказался человек...

– Кто он? – терпеливо выслушав командира полка, спросил бургомистр Штраубе.

– Доложите, Ухарев, – кивнул полковник.

– Немец, – уверенно сказал капитан. – Ваш. Из Дальгова. Мои бойцы его знают. Часто приходил к нам подкормиться. Бездомный...

– Личность известная, – подсказал комбат Черненко. – Солдаты зовут его Кузя...

– Мы могли бы взглянуть на тело? – поинтересовался секретарь Гердт.

– Разумеется! До вашего приезда мы ничего не трогали, – спохватился полковник Лесов. – Лучше пройти пешком, машиной здесь не проехать. Да это и недалеко...

Они молча зашлёпали по грязи в темноте, слабо освещаемой прыгающим светом фонарика.

Пустырь между траншеями и мишенями курчавился жёлтой осенней травой. Гердт и Штраубе были в лёгкой обуви и набрали полные туфли воды: она стояла маленькими холодными озерами, и обойти их было невозможно.

Впереди, уверенно чавкая в мокрой глине, шёл капитан Ухарев. Он первый прибежал на место гибели Кузи и хорошо знал место, где лежало тело.

Кузя лежал в ледяной луже в нелепой позе – голова повернута вбок, руки странно вывернуты, а из старого солдатского бушлата торчали клочья грязной ваты. Он лежал на животе с раскрытым ртом, словно был мертвецки пьян и вот-вот проснётся и поведёт мутным, ничего не видящим глазом.

Но Кузя никогда уже не проснётся и не встанет, – это было ясно всем.

Немцы, минуту с изумлением изучавшие тело соотечественника, пошевелились и переглянулись.

Да, он знает этого человека, – первым заговорил бургомистр Штраубе; он хотел, но передумал рассказать, что этот оборванец летом украл у него трёх пасшихся во дворе кур.

– Мы его знаем. Но не знаем, откуда он взялся. Он не наш. Это точно.

– Да, не наш, – промычал секретарь Гердт.

– Какая разница, – поморщился полковник Лесов, – где он родился. Живет-то он у вас?

Немцы покорно кивнули.

– Вот и забирайте. Не лежать же ему здесь, пока вы разберётесь...

Полковник нетерпеливо передернул плечом: его начинала раздражать затянувшаяся процедура.

– Вот именно, – крикнул капитан Ухарев, – он боялся, что его признают главным виновником происшествия.

– А вы, капитан, лучше светите, – повернулся к нему командир полка. – А то, понимаешь, совсем ничего не видно... Из-за вас тут торчим...

Капитан зачем-то еще раз посветил на мёртвого Кузю и, убедившись, что ничего нового они не увидят, немцы и русские офицеры пошли в обратную сторону.

– Завтра утром заберём тело, – вполголоса посоветовавшись с секретарём Гердтом, заявил бургомистр. – Сегодня всё равно бесполезно.

– Ну – это как знаете, – понимающе кивнул полковник. – Но акт нужно составить. День в день.

Поколебавшись, немцы согласно кивнули: акт – это конечно. Обязательно...

Бургомистр Штраубе первый поставил свою подпись при свете фонарика на листе вырванной из полевого блокнота полковника Лесова бумаги. За ним – секретарь Гердт, и только потом русские офицеры.

– Удивительные люди эти русские, – рассказывал Кларе, когда он вернулся домой и надел теплый стёганный халат, Вальтер Штраубе. – Достаточно было двух подписей. Но русские за чем-то поставили три. Как будто боятся, что им не поверят, – засмеялся он, добродушно покачивая головой. – А погибший был странный человек, вор, бродяжка...

– Может, он не немец? – предположила Клара.

«Кто его знает», – подумал Штраубе. А вслух попросил:

– Принеси, пожалуйста, сигару из ящика! Хочу выкурить перед сном.

Когда Вальтер Штраубе укладывался после выкуренной сигары в постель, по окнам снова застучал осенний дождь, и он подумал, что, вероятно, это последний дождь нынешней осенью, и не сегодня-завтра выпадет первый снег, и наступит ясная, морозная погода.

Наутро, когда рассвело, всё вокруг – лес, строевой плац, – там уже махал фанерными лопатами, расчищая его, дежурный взвод, – и даже деревянный забор и капоты грузовиков на полковой стоянке были покрыты выпавшим за ночь густым, белым снегом. Ефрейтор Воликов перевел взгляд с заснеженной остроконечной вышки часового на потолок, вздохнул и склонился над чистым листом бумаги.

«Здрастуйте дорогие мама и батя!

Привет из биларусии! Пишит вам родной ваш сын Павел. У меня дила идут хорошо я жив и здоров чиво и вам жилаю. Месяц назад меня перевели из германии по служебной ниобходимости в Союз. Так что типерь я на родной земле хоть и далеко от дома. Наша войсковая часть стоит на самой границе с литвой но я ни имею права об этом говорить и указывать поэтому скажу коротко народ здесь нидобрый в увольнения отпускают редко но меня это ни колышит потому что в мае месяце у меня дембель. Ротный говорит что за особые заслуги и хорошую службу меня отправят домой в числе первых. Тибя говорит Воликов вытолкаем коленкой под зад в первую очередь. Живут здесь люди по рассказам потому что я сам ище не видел очень бедно и плохо идят одну капусту и картошку ее тут называют бараболя и пьют водку бусел. Бусел это по ихнему журавель и на этикетки нарисован журавель с белым хвостом. Часть наша маленькая тыловая работаю я по специальности в римонтной мастерской и сильно устаю. Кормят здесь плохо ни то что в германии тоже одна капуста и бараболя да ище кажен день свинина хочица чивото другога но ни дают. Старшина говорит на гражданке будите объидаца а служба требует простой и здоровой пищи от нее проясняется в уме а тибе говорит Воликов это вкрай необходимо. Мама! Сохранилась ли моя рубашка в каторой я перед службой бегал в парк на танцы и другие. Ты пересматри к весне перестирай и погладь приеду надо будет что-то надеть пока не работаю. И брюки тоже. Как там Людка Прилипкина, не вышла замуж? Ты знаешь я с ней встречался до службы а потом у нас была пириписка она обещала ждать но штото подозрительно замолчала. Если штото узнаеш обязательно напиши штобы даром клинья не подбивал. Батя! А ты паговори у себя на заводе чтоб меня взяли слесарем сборщиком в сборочный цех сборщики сам знаешь получают сдельно а это харошие деньги. Будет польза мне и помощь симье. На этом заканчиваю больше ни могу засиживаца скоро утрений осмотр и жилаю вам крепкого здоровья и штоб диревья у нас в саду по весне завязались и был хороший урожай. Крепко вас обнимаю и целую ваш сын Павел».

– Воликов, – нетерпеливо крикнул, заглянув в ленинскую комнату, командир отделения сержант Петухов. – Куда ты пропал? Бегом в роту! Общее построение!..

... Когда тело старухи выносили из дома, шедший весь день хлопьями густой снег перестал. Из тяжёлых тёмно-серых туч выглянуло солнце и залило дом, двор со столпившимся народом – мужчины стояли, обнажив головы, а женщины тихо всхлипывали – и сад с голыми скрюченными ветками таким тёплым сиянием, что это было воспринято, как знамение.

– Господь сжалился, – переговаривались в толпе. – Послал покойнице в последний путь свет и тепло.

– Это знак, – шептали другие. – На том свете ей будет хорошо.

– Матвеевна заслужила, – кивали третьи. – Всю жизнь мучилась, терпела, как Бог велел, и никого не обидела.

Соседи переговаривались, вздыхали и думали о неизбежном конце, который ждёт каждого.

– Год как мужа похоронила, а теперь вот сама...

– Могла бы ещё жить. Старушка была крепкая.

– Сколько не живи, а конец будет.

– Пора. Девятый десяток пошел...

Павел Никитович Воликов, рослый, грузный, обрюзгший человек шестидесяти лет с коротким седым бобриком над низким морщинистым лбом и жирной вмятиной вместо подбородка, комкая шапку, безучастно наблюдал, как гроб с телом покойной выносят из подъезда и ставят на табуретки во дворе: прощаться.

Гроб, в котором в белых цветах и пышном тюле утопало сморщенное личико матери, был, как просила покойница, чёрный, с белыми позументами. Оркестра не было – мать музыки не хотела. Священника тоже не привозили. Перед смертью просила заказать на второй день панихиду в Свято-Никольской церкви. И на девятый день, и на сороковой. А так – не надо...

– Хочу уйти тихо, – шептала она иссушенными губами, то скливо глядя в потолок.

Павел Никитович ей обещал.

До самой кончины мать находилась в полном сознании. Две последние недели она не вставала с постели и почти не ела. Только всё время просила пить. И, касаясь чашки ставшими негритянскими, так они распухли и почернели, сухими губами, шептала, скорбно глядя бесцветными, словно истаявшими глазами:

– Ухожу я, сынок. Посиди со мной...

Она вкладывала тяжёлую, морщинистую руку в его грубую ладонь и затихала. Он сидел, не шевелясь, тупо глядя на чёрно-синие материнские жилы, и голова у него кружилась.

Было двенадцать часов ночи. Глаза у него горели, Павлу Никитовичу хотелось спать. Завтра на работу на судовой верфь вставать рано, в пять часов. Но отойти от кровати матери было никак нельзя. Он боялся, что она умрёт в его отсутствие.

– Умирает, – подтвердила врач скорой помощи, делая укол обезболивающего. – Неделю проживёт, не больше. Наймите медсестру, без уколов ей будет тяжело.

Медсестра Варя, полная, рослая женщина с накрашенными губами и в рыжей шубке, приходила каждый вечер. Мать отворачивалась, покорно подставляя спину. Варя делает укол, прощается и уходит. Боль ненадолго стихала, мать устало задрёмывала. А когда действие лекарства заканчивалось, боль и стоны возобновлялись с новой силой. Варя стала приходиться два раза в день. Воликов равнодушно наблюдал, как она готовит шприц, набирает лекарство, делает укол и торопливо прощается. И опять всё повторялось в той же последовательности: лёгкое забытие матери, тишина в доме и мимолетное облегчение в душе у Павла Никитовича.

– Поспи, Паша, – входила в комнату жена, соболезнующе глядя на осунувшегося, похудевшего мужа. – Поспи, я тебя смею...

Жена Людмила, полная, пожилая женщина, неопрятная и непричёсанная, садилась у постели больной, и когда Павел Никитович уходил, она сразу засыпала на стуле. Павел Никитович лежал в спальне и слышал, как она похрапывает и, вскинувшись, тяжело зевает и вздыхает.

Странно, но в постели ему спать не хотелось. Он лежал с закрытыми глазами и думал, что вот – его мать умирает. Он вспоминал детство, пытаясь пробудить в себе чувство любви и жалости. Как она его кормила, купала, зашивала дыры на его рубашках и брюках. Брала утром с собой на рынок. И как он ленился просыпаться и рано вставать. Ему хотелось спать, а не тащиться на базар с сумками – туда с лёгкими и пустыми, а обратно – с тяжёлыми и полными провизии. Это было тяжело. Ребёнком он был маленьким, тяжеленные сумки волочились по земле, он готов был разреветься от неподъёмной тяжести и своего бессилия. Вспоминал, как, став юношей, приходил домой наутро пьяный и грязный. Мать встречала его в прихожей в ночной рубашке, сонная и сердитая. Она на него кричала, а

он – на неё, и утром ему было стыдно за свою пьяную злобу и несдержанность. Он старался с похмелья не думать и не вспоминать, что происходило ночью – кажется, были с обеих сторон и затрецины, и оплеухи. Павел смущался наутро, мрачнел и виновато сопел, не зная, как загладить вину. Она помалкивала тоже. Молча швыряла на стол тарелку с яичницей, ставила чашку кофе и сухо предлагала:

– Садись завтракать. Алкоголик...

Все эти воспоминания – иногда яркие и подробные, иногда смутные и неопределённые, словно подёрнутые туманом, – не вызывали у Павла Никитовича ни любви, ни сочувствия. Они были ему в тягость, как старые, износившиеся ботинки – выбросить жалко, а ходить тяжело и неудобно. И Павел Никитович думал, что хорошо было бы совсем ничего не помнить и не знать – ни матери, ни равнодушного, молчаливого отца, ни жалкого, полусиротского детства, быстрого взросления и нищей юности. Он завидовал животным и птицам – собакам, кошкам, голубям – за спокойное и безразличное отношение к родителям и собственной жизни. Когда он засиживался до глубокой ночи у постели умирающей, ему казалось, что она думает о том же. Иначе откуда этот глубокий, напряжённый взгляд; она словно искала что-то тайное, ставшее вдруг, в одну минуту, явным.

– Сколько работы переделали эти руки, – со слабой усмешкой произнесла мать в минуту облегчения, вертя перед собой тёмные, скрюченные руки. – И не перечислишь. А всему бывает конец. И зачем всё было нужно, – покорно кладя руки на одеяло, прошептала она.

Вспоминая и мысленно прослеживая свою долгую жизнь с матерью, Павел Никитович задавался тем же неразрешимым вопросом. Ему казалось, что один материнский взгляд, один только эпизод его непрерывного ночного сидения ответили на неясный, молчаливый вопрос.

Это было за два дня до ее кончины. Мать лежала на высоких подушках, повернув к сыну усталое, измождённое лицо. Глаза её были полузакрыты, и когда она их неожиданно открывала, её взгляд упирался в лицо Павла и жадно скользил по нему. Казалось, она хотела только одного: чтобы сын сидел рядом и не уходил, пока она жива.

Он задремал под ровное тиканье будильника. А когда очнулся, мать смотрела на него долгим, нежным и невидящим взглядом. Она смотрела на сына, а видела что-то или кого-то

иного, кого не было в эту минуту в комнате. А может, и вообще не было в её жизни, только в воображении.

Так она и умерла – с головой, склонённой на сторону и с тенью полуулыбки, застывшей на её губах.

Когда гроб с телом мужчины с белыми платками на рукавах подняли, чтобы донести до ритуального автобуса, Павел Никитович покорно побрёл следом, глядя, как мелко покачивается в гробу, словно она укоряла его в непонимании, её маленькая, склонённая головка...

Идти было тяжело. У него был запущенный артрит, одну ногу он тянул, и от боли в колене не мог плакать. На одну его руку опиралась судорожно вздыхавшая и плакавшая жена в чёрной накидке, а на другую – поспешно приехавшая на похороны из другого города, где она жила с мужем, дочь Нина, маленькая и толстенькая, как мама, и такая же неряшливая. Он шёл и боялся посмотреть на мать. Ему казалось, что она жива и только притворяется умершей, вот-вот она очнётся и скажет ему с укоризной: «Зачем ты меня сюда положил, Павел?»

В автобусе, сидя на лавке и заваливаясь налево при каждом повороте, он со страхом отводил от матери смущённые, испуганные глаза: она продолжала прямо и пристально смотреть ему в лицо, как накануне...

После торопливых, безмолвных похорон и поминального обеда – стол на двадцать человек заказали в студенческой столовой, недалеко от дома – втроем молча побрели в сумерках домой. Молча пришли в опустевшую, грязную от множества входивших в неё ног, с беспорядочно отодвинутой мебелью тёмную квартиру. В комнатах стоял запах покойницы и похоронных свечей, формалина и немытого тела.

– Открой форточку, – сказал Павел Никитович жене и вошёл в комнату матери.

Постель была разобрана. Когда её поднимали, чтобы положить в гроб, одеяло откинули да так и оставили. Подушки были смяты, и та, на которой она лежала, склонив голову к сыну, слегка сдвинулась в сторону.

Павел Никитович тяжело присел и задумался. Вот и всё, подумал он. Нет у него больше ни отца, ни матери. Полный сирота. И оттого, что он, взрослый, заканчивающий свою жизнь человек, оказался один-одинёшенек, ему стало невыразимо горько и больно. В глазах стало пощипывать, и, чтобы не расплакаться, он встал и поправил материнскую подушку. Под ней

лежало что-то тяжёлое и, просунув руку, он нащупал старый, довоенный материнский ридикюль.

В ридикюле хранилась мамина женская мелочь: старенькая крашеная в блекло-голубое с золотом иконка Спасителя, дешёвый крестик на коротком шнурке – это был его, Павла, крестик, мама крестила его тем же сталинградским летом в открытой немцами церкви. Обнаружил старый пластмассовый цилиндрик с высохшей губной помадой, потрёпанный русско-немецкий разговорник и новенькую медаль «Участнику Великой Отечественной войны». А во внутреннем кармане, отдельно, хранилась небольшая, пожелтевшая от времени фотография. На обороте Павел Никитович с трудом разобрал короткую расплывшуюся надпись по-немецки, сделанную фиолетовым химическим карандашом: «Zart Heli von Klaus Kunz» (Нежной Хэли от Клауса Кунца).

С фотографии на него смотрело лицо молодого, красивого, в новом солдатском мундире с распластавшимся выше нагрудного кармана орлом старого знакомца Кузи.

Павел Никитович долго, что-то туго соображая, смотрел на фотографию, потом упал, зарылся лицом в пахнущую материнскими волосами подушку и глухо зарыдал, кусая кулаки, так что на простыне появились капли крови, и она стала мокрой от слёз. Жена и дочь мыли в это время пол на кухне и ничего не слышали. Потом они собирались убраться в комнате, где стоял гроб, а затем проветрить квартиру; комнату матери решили не трогать, пока не пройдут полагающиеся по обычаю сорок дней после смерти.

За делами жены и дочери, их ровными и спокойными домашними хлопотами Павел Никитович успокоился и затих. А когда он вышел из комнаты покойной, никто на его лице, как всегда, спокойном и угрюмом, ничего не заметил.